

ДРУГИЕ НОТЫ

(ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА)



ХЕЛЕНА ПОЛЯРЖИНА
Живет в Беларуси. Училась на филологическом факультете Белорусского государственного университета. Переводит с польского. «Валсарб» — дебютный роман автора.

Это была не ее жизнь. Чужая, не ее история. Где она осталась настоящая, на каком этапе, в какой из квартир, бездомная и неприкаянная?

Та ли она, кем себя считала? Сейчас, по крайней мере, ничего общего.

Она никогда не одна, особенно это заметно в лифте или в магазине, где, оказывается, невозможно изучить полки без пригляда за маленькими ножками, норовящими убежать к чужим ногам с болтающейся продуктовой корзиной подле, перепутав их, ее и чужие ноги, ее и чужую корзину, ее и чужую жизнь.

Она — жена и мать. В этой мысли есть что-то неправильное. И что-то невыносимое.

С тем же успехом она могла продавать леденцы на палочках у моря. Или что там продают? Цветы? Глупости, никто не продает цветы у моря. Что могла бы продавать она? Рапанов, самсу, мидий? Мороженое. Можно остановиться на нем. Бесконфликтно и естественно.

На море она была с семьей лишь однажды, в детстве, кажется, был июнь — его начало или его конец, настроение у того лета и того моря было, вопреки ожиданиям, не переменчивое, а стабильно неласковое, еще на подходе к воде холод пронизывающий: заходишь в нее, точно ступаешь в тот самый чан с мороженым, которым там не торговали. У города, где находилось море, было

липкое, как у ириски, название: Лиепая. Здесь много лип, говорила мама. Поэтому так называли город. И много янтаря, говорил отец, и приносил ей мелкие медовые и оранжевые камешки, похожие на монпансье. И много ветра, думала она, глядя, как родители отчаянно и отважно, но абсолютно добровольно идут навстречу ледяным волнам, оставляя ей недоумение по этому поводу, вперемешку с запахом дюн, шумом прибоя и белым песком, похожим на ванильный сахар, который она пересыпала в ладонях, лежа на покрывале.

Ни мороженого, ни сахарной ваты. Только бравурная решимость купаться, несмотря на не предвещающий ничего хорошего серенький, как цинковое ведро, день, неестественная веселость, присущая людям, у которых отдых с самого начала задался не так, как они мечтали, и ее тоскливое ожидание на холодном берегу, полностью одетой, под резкими порывами ветра, гнавшего обрывки облаков.

Однажды она не выдержала и спросила, глядя не на маму, а на живописно торчащие окаменелости вдаль: почему я всегда одна?

И мама наклонилась и заглянула ей в лицо, точно пытаясь убедиться, что она — это она, ее дочь, а не чей-то странный ребенок, наклонилась и заслонила собой утес, растерянно провела по своим темным мокрым волосам, которые в ту



пору еще не красила, удивленно ответила: как же одна... А я?

Не сказала: а мы с папой? Только: а я?

Но она пояснила, что имеет в виду брата или сестру, когда тебе семь, появляются такие игры, секреты и тайны, которых не вынести в одиночку, иначе начинаешь разговаривать сам с собой, как дурак, вызывая беспокойство у окружающих.

Мама как-то беспомощно улыбнулась и посмотрела на отца – с таким удивительно противоречивым выражением лица. И он, выслушав отчет об одиноких буднях своей дочери, сказал: «По рукам! Привезем тебе братика с моря. Только придется подождать». Сказал и засмеялся. И мама улыбнулась уже иначе, как человек, которого заверили в успехе и обнадежили. А отец запел: придет-ся по-до-жда-ать.

Спустя три месяца, в октябре, маму увезли в больницу, прямо посреди ночи, а она даже не проснулась, совсем ничего не слышала. Утром отец ушел на работу, а она в школу не пошла, осталась с соседкой – пожилой женщиной с циклопической фигурой, которая испекла на завтрак оладьи и бубнила под нос: ай-ай, хоть бы утряслось, хоть бы обошлось, ай-ай.

Но не утряслось и не обошлось, отец сходил в больницу и сообщил соседке: нет, в этот раз нет. Ее в больницу он не взял ни в тот день, ни на

следующий, впрочем, мама скоро вернулась. Был ли другой, третий, пятый раз – она так никогда и не узнала.

Чувствовала ли ее мама, что та жизнь, такая жизнь, была не ее жизнь, – она так и не узнала.

Сама она все чаще торговала воображаемым мороженым. На очень солнечном воображаемом пляже. В каком-нибудь Сорренто. Кальпе. Албуфейре. Стояла возле яркого холодильного ящика в дерзкой, воздушной, воображаемой алой юбке, протягивала эскимо со снежной каемкой на упаковке или крем-брюле, норовящее растаять прямо на глазах, забирала монетки, позвякивая десятком браслетов с подвесками на запястье, сверкала тонкой цепочкой на лодыжке. Улыбалась каждому встречному. Особенно благодарно юношам, уходившим без сдачи. Вечером шла домой, любуясь живыми изгородями и лимонными деревьями, разглядывая нетронутое прошлое, разбавленное ржавчиной на ставнях и сколами на фасадах, ступала на изогнутое крыльцо виллы, входила в свою небольшую, очаровательную квартирку, где заводила старую пластинку или просто радио, открывала дверь смуглому возлюбленному с прозрачными, как вода, глазами, принимала с ним душ и пила сухое вино, пересчитывала на шелковой простыне монетки, брошенные незадачливыми туристами в море, кото-

Раньше она думала,
что нет на свете
большого несчастья,
чем неосуществимость
желания:

Прошу вновь нас вернуть
в подвал в переулке,
и чтобы лампа загорелась,
и чтобы все стало, как
было.

рые он выловил для нее, деловито обсуждала, чем
им еще заняться, кроме любви и торговли моро-
женым. Может быть, все-таки стать цветочницей
и продавать букеты?

Раньше она думала, что нет на свете большего
несчастья, чем неосуществимость желания:

*Прошу вновь нас вернуть в подвал в переулке,
и чтобы лампа загорелась, и чтобы все стало, как
было.*

Теперь она думает, что просто знать, пусть
даже никогда туда не вернувшись, в каком пере-
улке находится *твой* подвал, – это уже счастье.

